

ЛК К 84.09 (=чув) геннадий айги

A37

начала полян

К-51833

ПРОВЕРЕН

20 10

15

геннадий айги
начала
полян



25

геннадий айги

собрание сочинений в семи томах

том первый

К.Л.К.К.84.09(=шч)

A37

геннадий айги
начала
ПОЛЯН

Ррр

москва гилея 2009

Выражаем искреннюю благодарность
Германскому ПЕН-Центру,
Творческой программе ДААД (Германия),
Шведской Королевской Академии
и всем, кто принял участие в финансировании
настоящего издания

Составление Галины Айги
и Александра Макарова-Кроткова

Художник Андрей Бондаренко

На фронтисписе — портрет Геннадия Айги
работы Николая Дронникова

ISBN 978-5-87987-051-0 ✓

ISBN 978-5-87987-052-9

- © Галина Айги, 2009
- © Вступительная статья. Ева Лисина, 2009
- © Графика. Николай Дронников, 2009
- © Оформление. Андрей Бондаренко, 2009

К-51833

ГЕННАДИЙ АЙГИ
БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

оглавление

<i>ева лисина</i> живые страницы	9
начала полян (1956–1959)	29
отмеченная зима (1960–1961)	63
поля-двойники (1961–1965)	95
день присутствия всех и всего (1963–1965)	119
степень: остоики (1964–1965)	135
утешение 3/24 (1965–1967)	167

Вспоминается 1959-й год... Я — студентка 4-го курса Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В один из последних дней ноября ко мне, занимающейся в читальном зале, прибежали подруги-сокурсницы, с которыми я жила в одном общежитии: “Тебе немедленно надо ехать домой, в деревню”, — “Что случилось?” — “Мать заболела”. Как я ни просила, они так и не показали мне телеграмму, сослались на то, что впопыхах куда-то засунули и теперь не могут найти. Я узнала текст телеграммы только в деревне: “Мать при смерти, немедленно выезжай”, — таково было ее содержание. Мой брат (поэт Геннадий Айги) находился в Москве же, но я не стала терять времени на поездку к нему, оставила его адрес подругам, а сама в тот же вечер села на поезд.

До этого я всегда ездила в общем вагоне, битком набитом черным, бедным людом, бывало, сидишь прямо на полу, среди мешков и узлов. А сей-

час я в первый раз попала в купейный вагон (пока одни разыскивали меня, другие уже купили билет на поезд). Я ехала с военными — хорошо одетые, самоуверенные люди пытались шутить со мной, но какие тут могут быть смех и шутки? Что же случилось с мамой? Именно тогда мне вспомнился случай из детства (сейчас я часто вспоминаю его как некий символический образ матери). Я совсем маленькая. Хлещет шквальный дождь, гром грохочет, да так, будто весь мир содрогается. Я прижалась к маме. “Мама, тебе совсем-совсем не страшно?” — спросила я тогда. Мама погладила меня по голове: “Страшно, мне тоже страшно, но мне нельзя бояться — ты же совсем еще маленькая”. В этих словах словно воплощена вся мамина жизнь: страшно — нельзя бояться, уже нет сил — нельзя уставать, нет просвета в непрерывной нужде — нельзя сказать “пропадаем”. Потому что дети маленькие, потому что надо поставить их на ноги, вывести в люди.

В последний раз я была дома в конце сентября — помогала маме убирать картофель. Тогда меня поразили ее ладони: они напоминали пожелтевшие липовые листья. Вспомнила это, и мне стало страшно: это же признак страшной болезни! Неужели?! Не может этого быть! А какие у нее были худые икры... Боже мой! Заставляю себя думать о другом. “Другое” — тоже неутешительное. Перед тем как мне уехать в Москву, мама задала престранный вопрос: “Ты знаешь, где твой брат?” Она и сама прекрасно знала, что он в Москве. Мама умоляюще смотрит

мне в глаза, настаивает: “Ты дружна с братом, все знаешь, не скрывай от мамы, скажи правду”. Видя, что я стою в полной растерянности, она поведала мне странную историю. Оказывается, к ней приходил бывший директор нашей школы Е.В. Нестеров и сообщил, что с ним разговаривали “люди из района” и сказали, что Геннадий Айги связался с воровской шайкой и теперь разбойничает на дорогах. Умный, добрый наш учитель (к своим ученикам он относился как отец, кроме того, он был другом нашего отца-учителя, погибшего на фронте) этой вести не поверил, о ней никому не рассказывал, сообщил только маме. Я попыталась успокоить маму: “Все это ложь, выдумка, брат находится в Москве, я часто его вижу. Как только приеду в Москву, тотчас же увижусь с ним, и он напишет домой”. — “Почему же о нем распространяют такие ложные слухи?” — сетует мама. Действительно, почему?

В Чувашии было холодно, лежал снег. В спешке я выехала из Москвы в том, в чем ходила, в тонком осеннем пальто и ботинках. Из райцентра Батырево до нашей деревни пришлось ехать в открытом кузове грузовика. Я так окоченела, что, когда сошла с машины, не могла согнуть руки-ноги. Еле добралась до дома. А дома никого, в нетопленной избе виден пар, во дворе мычит голодная корова. Бегу к соседям, там мне сообщили, что маму в тяжелом состоянии отвезли в больницу, в соседнее село Тарханы. Отправляюсь туда.

К маме пустили сразу же. Я не помнила, чтобы мама когда-нибудь лежала среди бела дня. Теперь же лежит днем, на больничной койке, у двери... Мы целуемся. Ах, мамина щека, мамины руки!.. Какая магия заключена в материнском тепле, вот лежит мама больная, но все равно не страшно, кажется, что все будет хорошо. У меня для мамы есть московский гостинец: белый хлеб, красные яблоки. Мама берет их в руки, любуется и благодарит: “Спасибо, доченька, спасибо!” (а кисти рук у нее — тонкие-тонкие, и оттого рукава кажутся слишком широкими).

Диагноз — немыслимый, оглушающий — я узнала от самой мамы: оказывается, при ее обследовании врачи между собой говорили по-русски (вероятно, им и в голову не приходило, что эта бедно одетая чувашская крестьянка знает и по-русски, и по-татарски), они поставили и диагноз, определили и то, сколько же месяцев осталось ей жить. Как отвести эти слова, нависшие черной громадой, как отвести нахлынувшее чувство пустоты? Единственное, что я могу делать, это гладить мамины руки, смотреть в любимые глаза — умнейшие, терпеливейшие — и говорить: “Наверное, это не так, бывает, и врачи ошибаются, надо показаться другим врачам”. Потом я зашла к доктору. “У твоей мамы рак”, — сообщил он. Расспросив о нашей семье (я учусь, сестра моя — инвалидка, про брата сказала, что он учится в Москве, хотя он был уже исключен из института), добавил следующее: “Наверное, у

вас и средств-то нет, не стоит тратиться — возить больную по разным больницам, она скоро умрет”.

Мне кажется, что иногда несчастье, страшную весть человек переносит не потому, что у него много душевных сил, а просто потому, что у него механически стучит сердце, человек только поэтому и не умирает, только поэтому и “выдерживает”. Я вышла на улицу. Конечно, я не буду дожидаться маминой смерти, сделаю все, что в моих силах. Я отправилась на почту. Звоню в Батырево, в редакцию нашей районной газеты “Авангард”, нашему старому другу Кави Юлдашеву. О, благословенные голоса друзей! “Успокойся, успокойся, — говорит Кави. — Сначала надо тщательно проверить. В Батыреве прекрасные врачи работают. Я сейчас пойду и договорюсь с ними, а ты завтра привози маму. Мы вас будем ждать”. Теплые, обнадеживающие слова! Еще раз захожу к маме, а потом сразу же отправляюсь в правление колхоза — просить на завтра лошадь.

Но на чем же ехать в такую погоду? Если на санях — снегу совсем мало, хотя и подморозило, но санного пути еще нет. Если на телеге — дороги страшные, все в колдобинах и ухабах, можно опрокинуться, потом такую тряску не то что больной, здоровый человек не выдержит. Я решила ехать на санях, по краю леса, думая, что по заледенелым травам сани должны хорошо скользить, а если и опрокинемся, все-таки это не то, что падать с телеги.

Но доехали мы с трудом. Батыревские врачи обследовали маму очень тщательно, сказали ей,

что ничего страшного, а мне же сообщили первоначальный диагноз. Поверила ли мама успокоительным словам врачей или нет? Никогда не забуду я тогдашний наш разговор. Мы у Юлдашевых одни, вдвоем с мамой. Мама лежит на постели. Из окна падает какой-то немощный красный свет. “Жизнь такова: человек рождается, живет и умирает, — сказала мама. — Родители должны умереть раньше, а дети должны жить”. Я это восприняла как “надо готовиться к исходу”. В этом мире я ничьим словам не верила так, как маминым, от ее слов на долю секунды промелькнуло ледящее душу ощущение, что нам вскоре предстоит расстаться, и мне стало невыносимо сиротливо. Наверное, на мои глаза навернулись слезы, на что мама сказала ласково и твердо: “Давай не будем плакать”. Видимо, за последние три дня я вся выдохлась, обессилела, какой-то отрезок времени полностью выпал из памяти: на следующий же день мама была помещена в больницу села Первомайское, но я абсолютно не помню, кто ее туда перевез — я сама или батыревские врачи. Я пришла в себя только на следующий день, когда приехал брат. Оказывается, он еще в Батыреве узнал, где находится мама, и прямо оттуда отправился в Первомайское. “Мама лежит в коридоре, одеяло ее заледенело, поговорив с врачами, я перевел ее в палату”, — сообщил он мне.

Через несколько дней маму на самолете отправили в Чебоксары, в республиканскую больницу.

Чтоб быть поближе к ней, брат в тот же день выехал в Чебоксары.

Мама находилась в больнице больше месяца. Все это время брат жил в Чебоксарах. Там он подружился с тремя студентами и часто встречался с ними (надо сказать, потом всем троим пришлось нелегко, но они во всех ситуациях оставались честными людьми и сейчас занимают достойное место в чувашской литературе). Из этого позже выдумали еще один повод для обвинения Айги: в 1977 году директор Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики на собрании научных работников заявил, что “еще зимой 1959 года Айги организовал в Чебоксарах тайный кружок студентов”, и попытался одного молодого ученого связать с этим “делом” (хотя тот познакомился с Айги только в 1966 году).

Маме сделали операцию. Брат привез ее сразу же после Нового года. Впереди — страшных шесть месяцев, впереди — хрупкая надежда, мука и отчаяние.

У брата сложилась такая привычка: он почти всегда работает до утра, спит днем. Во время ухода за больной мамой такой распорядок дня был очень кстати: днем ухаживаю я, ночью же — брат. Бывало, проснешься и видишь: на столе горит керосиновая лампа, брат сидит, пишет, а мама лежит на высоко приподнятых подушках. Случалась и такая сцена: за столом никого, брат усадил маму, и сидят они вдвоем, беседуя тихо-тихо. В минуты же, когда

больной становилось невмоготу, брат будил меня, чтобы я сделала ей укол.

Иногда мне хотелось сказать маме: “Видишь, твой сын не бродяга, не разбойник, разве разбойник сидел бы по ночам над стихами, разве разбойник так ухаживал бы за мамой?” Но не говорила, мама сама видит.

Как-то утром, собирая со стола листки, исписанные братом за ночь, я остолбенела — лежало стихотворение, написанное по-русски:

*Не снимая платка с головы,
умирает мама,
и единственный раз
я плачу от жалкого вида
ее домотканого платья.*

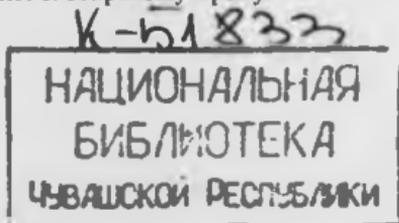
Это стихотворение и удивило, и ударило по сердцу. Удивило то, что Айги начал писать по-русски. Болезненное же восприятие можно объяснить вот чем: конечно, мама умирала, но до самой ее смерти я не признавала это, не могла произнести это слово, а тут оно было сказано прямо, не оставляя никакой надежды. К тому же в этих нескольких строках очень точно передан мучительный образ мамы: мы подкладывали ей за спину подушки, и сидела она, тяжело опустив голову (казалось, маме не хватает сил поднять ее), в пестром домотканом платье, в платке, чтобы поправлять его, с трудом поднимала руку...

Вся наша жизнь теперь была подчинена болезни мамы, поэтому я даже не помню, говорили ли мы про дела брата. Но оказалось, что я живу в страхе за него. Выяснилось это неожиданно.

Брата тогда не было дома. Мне же надо было сходить в соседнюю деревню, расположенную в двух километрах от нас. Вечер. Вьюга началась. Я шла полем. Потом спустилась в ложбину... и остановилась... На дровнях человек лежит!.. В полушубке, валенках, а шапка слетела с головы, валяется рядом. У меня волосы встали дыбом и вырвался крик ужаса: “Теде! Теде!* Убили! Теде убили!” Если же подумать — брат никак не мог оказаться здесь, в таком виде, он и ходил-то не в полушубке, притом мы живем в родной деревне, в родном доме — кого, чего я должна бояться! Нет, ни о чем не могу думать, кричу по-прежнему. Я кинулась к саням и человека, лежащего ничком, перевернула на спину. Нет, не брат. Человек жив, по-видимому, пьян, наверное, небрежно запряженная лошадь при подъеме распряглась и ушла, а сани с хозяином остались здесь. Чтобы позвать людей, я побежала на ферму, расположенную рядом.

В Чувашии “дело Айги” началось еще раньше, чем в Москве, оно уже дошло до родной деревни. Мама рассказывала, что несколько раз к нам подбрасывали газеты — “раскроешь их, а там поносят Геннадия”. От мамы же я узнала, что в наше отсутствие

* Теде — обращение к старшему брату.



(мы с братом находились в Москве) к нам еще в 1958 году навещался один человек. Он уверял маму, что учился вместе с ее сыном в Батыревском педучилище, дружил с ним, потом допытывался, пишет ли он и что пишет. Маме этот человек не понравился, она так и сказала ему: “Я знаю всех друзей своего сына, среди них такого нет, больше к нам не ходи”.

(Из воспоминаний Айги: “Когда осенью 1958 года я приехал домой, почему-то многие сторонились меня, некоторые даже не подавали руки”.)

Сейчас же поэт приехал ухаживать за умирающей мамой, а в это время в Батыреве на сессии депутатов местного райсовета публично объявили, что “Айги — враждебный элемент, находящийся под официальным наблюдением”.

В это тяжелое время к нам из села Тарханы приходили двое молодых людей. Это были замечательные ребята — умные, открытые. Кажется, один из них по какой-то причине был исключен из института. Их посещение лично я воспринимала как радостное событие: на какое-то время забывалась и болезнь мамы, наша тихая изба наполнялась стихами, жаркими спорами о литературе и искусстве, даже сидящая на постели мама с интересом наблюдала за “вдохновенным кружком”. Но однажды (кажется, это было в конце апреля) они постучались глубокой ночью. Ребята были тихие и подавленные. Разговор был недолог, они сообщили, что их вызывали и до-

пытывали: “Айги — враг народа, вы ходите к нему, что он говорит, что пишет?” Перед уходом один из ребят сказал: “Геннадий Николаевич, мы вас не предавали, мы ответили им, что с поэтом говорили только о поэзии. Но нам запрещено с вами встречаться”. Действительно, после этого они перестали к нам ходить. Уже потом (после смерти мамы, после отъезда брата) я встретила одного на ярмарке, он посмотрел на меня сочувствующими, страдающими глазами, но не подошел.

Брат часто отправлял в Москву письма, но ответы приходили крайне редко. Даже о том, что Пастернак болен, узнали в конце марта от тех же тархановских ребят (они услышали “зарубежный голос”).

Маме становилось все хуже. Чтобы постоянно находиться возле нее, я не отлучалась из дому. Даже в аптеку за лекарствами ходил брат. Однажды (это было в первых числах июня, вечером) он вернулся бледный, с искаженным лицом... Наверное, он плакал. “Теде, что случилось?” — спросила я. Он протянул мне листок бумаги: “Вот, телеграмму вручили”. Прочитав слова “классик умер”, я поняла, что скончался Пастернак. Упомянуть имя лауреата Нобелевской премии было опасно, поэтому вместо него написали “классик”. Вспоминая тот вечер, я представляю поле между нашей деревней Синьял и селом Тарханы, овраги, пыльный бурьян у дороги, идет этой дорогой (или же стороной, чтобы не встречать людей) один поэт и плачет о смерти другого — любимого — поэта...

Айги дружил с Пастернаком, это считалось одним из его “грехов”*. Брат показал телеграмму маме (а ей осталось жить ровно неделю, семь дней). Мама знала про Пастернака — наверное, Гена рассказал ей о поэте в те самые бессонные ночи. “Сынок, поезжай, — сказала мама. — Ты должен быть на похоронах этого человека. Только после похорон сразу же выезжай обратно. Я подожду тебя, не умру до твоего приезда”. Брат выехал сразу же. Но буквально через час вернулся обратно: “Когда я бежал по дороге, остановился и при свете луны еще раз прочел телеграмму...” Оказывается, ошеломленный первыми словами телеграммы, он не вник в указанные даты. Телеграмму-то отправили в день смерти Пастернака, но адресату вручили ее только через несколько дней после похорон. Выяснилось, что поступили так преднамеренно: через несколько дней Айги случайно встретил начальника почты, и тот издевательски рассмеялся: “Мы хорошо знаем, о каком классике шлют тебе телеграмму”. Позже стало известно следующее: из Москвы было направлено целых три телеграммы (две телеграммы послал композитор Андрей Волконский), Айги же вручили только одну, и то с большой задержкой.

* О. Ивинская в своей книге «В плену времени» (Париж, 1978) вспоминает: «На моей памяти, Борис Леонидович искренне отмечал тогдашнего студента Института имени Горького, молодого чувашского поэта Геннадия Айги. Он разбирался в его подстрочниках, предпочитая их рифмованным стихам. Борис Леонидович видел в них так им ценимые собственное поэтическое восприятие мира и острый глаз поэта».

Чувствовалось ли, что за нашим домом следят? Мы живем в родной деревне, в родном доме, среди соседей, про которых чувашки говорят: “Хорошие соседи дороже родных”. Но кому-то — чужим людям — разрешено было бросать в наш дом камнями, и это — окружение злых сил — чувствовалось явно. Такое даже невозможно было понять. Скажите, разве нормальный человек может понять следующую историю? До кончины мамы осталось два-три дня. Утром я вышла на улицу, и у меня потемнело в глазах: на наших воротах крупными буквами было написано: “Лисин Хветусе вилне”*. Почувствовала кожей — кто-то следит за мной. Взглянув мельком, заметила, что у дома напротив сидят несколько человек. Это были незнакомые люди — они-то и следили за мной. Какой реакции ждали они от нас, в данном случае от меня? Я должна была плакать, кричать, тем тешить их злорадство и кощунство? Я сделала вид, что ничего не заметила, будто собирая щепки, подошла совсем близко к воротам, а потом ушла домой. А затем подстерегла момент, когда на улице никого не было, и стерла кощунственную надпись. Я молчала об этом 25 лет, кроме брата не сказала никому, потому что это было оскорбительно для всей деревни, где еще умеют уважать и рождение, и смерть человека. Когда же в 1985 году рассказала двоюродной сестре, она была ошеломлена.

Стояла испепеляющая жара. В избе стало очень душно, поэтому мама попросила перенести ее в

* Лисина Хведусь умерла.

сени, где было темнее и прохладнее. В этот же вечер она простилась с нами, на ее благословение мы заходили поочередно, по старшинству: сначала — брат, потом — сестра, а потом уже — я. Не знаю, что говорила мама брату и сестре, но при благословении меня душераздирающим было то, что после общечеловеческих наказов мама давала мне и бытовые советы, словно она боялась, что после ее смерти я не буду знать, что делать. Одну просьбу она повторила несколько раз: “Брат твой не будет жить в деревне, а ты живи здесь, сбереги наш дом”. И последние слова — в чем положить в гроб...

На следующий день сестра ушла пасти гусей, а брат, как обычно, отправился за лекарствами для мамы. Мама скончалась на моих руках: лежащая на полу в сенях, она попросила усадить ее и подложить за спину подушки. “Еще, еще!” — говорила она, а как только я подложила последнюю подушку, попросила о другом: “Сними, сними!”, — когда я все сняла, она упала и вытянулась... Все было кончено... Когда вернулись сестра с братом, мама, уже умытая, лежала в избе на нарах... Лик ее был спокоен, сгладились следы мучения, лежала она в своем единственном нарядном платье (у него было почетное название — “красное сатиновое девичье платье”)... Страшные минуты, страшные часы...

Ушла мама, и на наш дом, на нашу жизнь навалилась такая пустота, что даже живое казалось неживым... На третий день после похорон брат уехал в Москву. Я не упрекнула его, хотя была очень

обижена, считая, что он бросил нас, сестер, в самые тяжелые минуты. Слава богу, что он поступил так, а не иначе. Верно, судьба встала на сторону молодого поэта (ведь ему тогда было всего 26 лет). Если бы остался, могло случиться худшее. Я это поняла на следующий же день.

Я тогда (утром) мыла пол. И плакала. Я уже заканчивала работу — мыла ступеньки крыльца. И в это время около меня остановились два незнакомых человека. Помню, мне стало страшно. “А-а; наверное, это Ева, у них же студентка такая есть”, — сказал один. “А где твой брат?” — спросил другой властным голосом. Брат мой уехал в Москву, но я соврала, что он уехал в Чебоксары. “Его там нет”, — сказали незнакомцы.

(Из воспоминаний Айги: “Перед тем как уехать в Москву, я решил заехать в Чебоксары. Как только приехал туда, сразу же отправился в Союз писателей Чувашии. Там встретил Уйп-Шумилова*, который, казалось, был рад видеть меня: “Вот и прекрасно — мне как раз ты и нужен. С тобой хочешь познакомиться одна женщина, у нее есть к тебе дело”. Уйп сообщил мне ее адрес. “А к кому надо обратиться?” — спросил я. “К Шумиловой”. Заметив мое удивление, он объяснил: “Да, это моя жена. Она хочет поговорить с тобой. Иди прямо сейчас”. Меня проводил Юрка Скворцов. Мы с ним были так

* Уйп-Шумилов Мишши (1911–1970) — чувашский поэт, сыгравший зловещую роль в репрессировании чувашских писателей с конца 30-х годов вплоть до хрущевских времен. Одна из улиц Чебоксар до сих пор носит его имя.

увлечены разговором, что, когда подошли к нужному мне дому, я даже не заметил вывески (а это было МВД), а сразу вошел внутрь. У двери стоял милиционер. Я сообщил ему свою фамилию и попросил вызвать Шумилову. Милиционер, нажав на кнопку, сказал, что она скоро выйдет. Но вышли два милиционера, они подошли ко мне с двух сторон и скрутили мне руки. Я сопротивлялся, требовал вызвать Шумилову. Отвечают: “Сейчас придет”. Милиционеры обыскали мои карманы и все, что там было (паспорт, сигареты, спички и т.д.), выложили на стол. Через несколько минут появилась женщина в форме — Шумилова. Она даже не стала со мной разговаривать, только перелистала мой паспорт, а потом сказала: “Мы его обвиним как бродягу. Его уже исключили из комсомола, прописки у него нет”. Сказав, по какой статье следует меня обвинить, она ушла обратно. После этого меня повезли в КПЗ (камера предварительного заключения). Там я просидел больше часа, а затем меня повели к следователю. Тот сразу начал кричать: “Бродяга, ты почему в деревне без прописки жил?!” Я объясняю: “Я не бродяжничал, а за больной матерью ухаживал. В деревне все без прописки живут”. Он даже не слушал меня, кричал, грозил, одновременно делал какие-то записи. А потом точь-в-точь повторил слова Шумиловой: “Мы осудим тебя как бродягу”. И упомянул ту же статью, сообщил, на какой срок собираются посадить — на три года. После этого меня повели обратно в КПЗ. Решетчатое окно, запертая дверь —

не выйдешь. Пришел сюда где-то в три часа дня. Уже стемнело. Наступила ночь. После полуночи меня повели в ту же самую комнату, где допрашивал меня следователь. Но сейчас там сидел другой человек. Он вел себя спокойно, не кричал. “Что же ты, родился в деревне, а теперь бродягой стал? — сказал он. — Расскажи-ка о себе подробнее”. И я начал рассказывать: о моем исключении из комсомола, о смерти мамы. “А почему не работаешь?” — “Я искал работу в Чебоксарах, побывал в редакции “Капкан” и “Коммунизм ялаве”. Не принимают”. Я сказал ему и о том что “мое дело” связано с Пастернаком. Следователь, доселе говоривший по-русски, перешел на чувашский язык: “Какой Пастернак? Тот самый? Послушай, я тебя не допрашиваю, но скажи мне правду, скажи то, что сам знаешь. Ты его видел? Что он за человек?” — “Видел. Святой человек”. — “А роман читал?” — “Читал. Удивительный роман”.

Человек задумался. “Что мне с тобой делать? Ведь тебя сюда не зря привели — завтра же посадят”.

До этого дня я перед людьми никогда не называл себя “поэтом”. А на сей раз сказал: “Я — поэт. У меня уже и книга вышла. Меня и Педер Хузангай знает. А в это здание меня проводили друзья, если я отсюда не выйду, они напишут в Москву Назыму Хикмету” (я специально так сказал, думая, что это мне поможет). Человек только головой покачал: “Сейчас уже тебе никто не поможет. Попал сюда —

статья готова”. Он что-то решал, взвешивал. “Послушай, — сказал он немного погодя, — я тебя официально не принимал, за тебя ни на какой бумаге не расписывался. Я тебя беру на себя, уходи, сейчас же уходи. Запомни: чтоб к завтрашнему дню тебя в Чувашии не было”. На следующий день в Чебоксарах должен был начаться Праздник песни, я хотел его увидеть. Когда сказал об этом, следователь вытаращил глаза: “Праздник песни?! Оказывается, ты ничего не понимаешь! Сейчас тебе дорога каждая минута, надо бежать отсюда. Запомни, если ты еще раз попадешься, уже не вырвешься”.

Светало. Наверное, было около четырех часов. Следователь сам и вывел меня из этого здания. Мне нужны были деньги на дорогу — на какой-то машине я добрался до Южного поселка к Юрию Скворцову. Он проводил меня до станции Канаш. Там я сразу сел на поезд, отправляющийся на Москву. Мне потом рассказывали, что на следующий день органы искали меня повсюду, допрашивали друзей...”)

Айги не знает имени того следователя, который, в сущности, спас его. Я же поняла одно: время — временем, но все зависит от человека, одни — похожие на Уйп-Шумилова — готовы сажать людей не только в 1937 году, но и в 1960-м, и сегодня, а другие же — подобные безымянному следователю — сохранили душу даже в черной толпе и спасают невиновных. Наша семья всегда будет благодарна этому человеку.

Сейчас про Айги заговорили и чувашские критики.

Давно пора. Я, досконально зная его жизнь и неплохо понимая его поэзию, хочу сказать одно: чтобы правильно оценить его творчество, нужны другой масштаб, другая психология. Мерка “только мы умные, остальные ничего не понимают” здесь не годится, не стоит “стрелять” этим старым ружьем. Скажем прямо — поэт это давно пережил. Пережил.

Лично мне радостно сознавать, что Айги и в дни тяжелых испытаний оставался человеком со свободной душой. Таким и представляю я настоящего поэта.

ева лисина

начала полян

из ранних стихов. 1956–1959

здесь

словно чащи в лесу облюбована нами
суть тайников
берегущих людей

и жизнь уходила в себя как дорога в леса
и стало казаться ее иероглифом
мне слово “здесь”

и оно означает и землю и небо
и то что в тени
и то что мы видим воочью
и то чем делиться в стихах не могу

и разгадка бессмертия
не выше разгадки
куста освещенного зимнею ночью —

белых веток над снегом
черных теней на снегу

здесь все отвечает друг другу
языком первозданно-высоким
как отвечает — всегда высоко-необязанно —
жизни сверх-числовая свободная часть
смежной неуничтожаемой части

здесь
на концах ветром сломанных веток
притихшего сада
не ищем мы сгустков уродливых сока
на скорбные фигуры похожих —

обнимающих распятого
в вечер несчастья

и не знаем мы слова и знака
которые были бы выше другого
здесь мы живем и прекрасны мы здесь

и здесь умолкая смущаем мы явь
но если прощание с нею сурово
то и в этом участвует жизнь —

как от себя же самой
нам неслышная весть

и от нас отодвинувшись
словно в воде отраженье куста
останется рядом она чтоб занять после нас
нам отслужившие
наши места —
чтобы пространства людей заменялись
только пространствами жизни
во все времена

| 1958 |

В РОСТ

I.

в невидимом зареве
из распыленной тоски
знаю ненужность как бедные знают одежду
последнюю
и старую утварь
и знаю что эта ненужность
стране от меня и нужна
надежная как уговор утаенный:
молчанье как жизнь
да на всю мою жизнь

2.

однако молчание — дань а себе — тишина

3.

к такой привыкать тишине
что как сердце не слышное в действии
как то что и жизнь
словно некое место ее
и в этом я есть — как Поэзия есть
и я знаю
что работа моя и трудна и сама для себя
как на кладбище города
бессонница сторожа

| 1954—1956 |

ЗАВЯЗЬ

(из одноименной чувашской поэмы)

[р. а.]

пускай я буду среди вас
как пыльная монета оказавшаяся
среди шуршащих ассигнаций
в шелковом скользком кармане:
звенеть бы ей во весь голос
да не с чем сталкиваться чтобы звенеть

когда гудят контрабасы
и когда вспоминается
как в детстве ветер
дымил дождем в осеннее утро —

пускай я буду
стоячей вешалкой
на которую можно
вешать не только плащи
но можно повесить еще что-нибудь
потяжелее плаща

и когда перестану я верить в себя
пусть память жил
вернет мне упорство
чтобы снова я стал на лице ощущать
давление мускулов глаз

| 1954 |

ИЗ ПОЭМЫ О ВОЛЬКЕРЕ

там в тайниках заоконных лугов
антрацитами светятся
черные дома полустанков

и вечером около рельс
маленькие красные фонари
горят так тихо и сосредоточенно
как будто сидят в них
маленькие Пимены
и тихо и застенчиво пишут

что сказание все продолжается

|1957|

предчувствие реквиема

а вам отдохнуть не придется
и в ясном присутствии гроба его

вам предоставлена будет прохлада
как на открытой поляне
чернеющей и угасающей
как в окружении
деревьев черных бесшумной корой

и явственней станет чем ваше “мы есть”
образа ясного свет
от которого будут болеть
ваши глаза с проявлением дна
с узкой — надглазной — костью
похожей на тусклый намордник

и станет известно что даже в то время
когда был горяч он насквозь
когда как ребенок был мягок и влажен
когда он хотел на прощанье сказать
три слова последние веры —

и приник ради этого
лицом небывало-доверчивым
к чему-то человеческому —

это и тогда оказалось
вашими руками

и запомним лицо остывающее
и все больше принимающее вид
маски вылепленной будто
руками убийц

| 1957 |

бодлер

Не вы убивали не вы побеждали
не вашего поля

Недаром вы слушать его не умели
диктовало откуда-то что-то
места своего не имея

и не было будто ни губ ни бровей ни висков
кроме далекого голоса
и неожиданных рук

И даже законы движенья и роста
искали иного служенья ему:

непредвиденным было то место под небом
где все утверждалось как тяжесть

и от всех эта тяжесть его отделяла
как падающее что-то
отделяется от воздуха в воздухе

— И цвета испанского табака
были живы глаза перед смертью
тоскующие по чистоте

рождаемой только разрывом и гибелью

| 1957 |

ночь первого снега

[2. а.]

ночь первого снега когда телеграфные
залепленные снегом столбы
словно чуть-чуть отошли от дороги
и потеряли колонну свою
и каждый из них —
ведущий

и шлагбаума белые полосы
придвинулись к белым от снега
шпал полосам нарушающим
горизонталь

и в издавна знакомой округе
есть что-то напоминающее
незнакомое пространство

и ограда вдоль дачи поэта
напоминает теперь частокол
перед домом далеким твоим неуклюже
поставленный
в котором засохшем задержана дерева смерть

неким подобьем
намека на вечность —

на большее время чем мы

ночь первого снега когда
ты стал не счастливым не легким а просто
свободным
как это бывает лишь в детстве
и лишь перед смертью

и тем ты свободен что можешь
не быть ответственным даже за веру:

ей уже жить вне тебя своей жизнью
там где пространство особо понятно
как освещенное снегом
за стеклами место на даче

где от сильного света бессильна с утра
женщина понятная сама по себе
и твоя потому что она твоя вера
не зависящая уже от тебя

| 1957 |

СОН-ОГОНЬ

(утра в иркутске)

[м. м. л.]

Сна начало
с шуршания
дворничьих метел под утро —

будто
по стенам
движение пламени
над головой —

так неуклонно, сурово, шершаво!

Юность-бездомность!..

Сон — словно мыслей потрескиванье
в дружеском доме: в огне.

| 1958 |

без названия

[и. р.]

а как эта боль появилась?
ты так уходила
как будто от жил отнимала ты руки

и с каждым уходом
они выявлялись все больше

и потом обнаружилось сердце
о котором я просто сказал: “болит”

а где-то покоилось время
существуя как воздух само по себе

и стал я впервые
ему принадлежать

когда я узнал
что я горестный след
твоей обособленной памяти детской
и нынешних снов

во мне без желанья оставленный
во время свечения крови и жил

что и сам я — лишь память
для всех — навсегда — о тебе — перед богом

| 1958 |

в декабрьской ночи

[н. ч.]

в страхе
как будто в декабрьской ночи
самоосвещаются
вещи души
и как говорим “тупики” и “дома” и “туннели”
определяю я это немногое —

когда повторяю:

что общность избравших друг друга
совместность их нищенская —
как разрешенная по недосмотру!

но неотменима

что ежедневно обязан художник
знать о силе и времени смерти

и знать потому: что для правды
не хватит и всей его жизни

что можно быть светлым всегда —
о хотя бы от боли! —
когда эта боль — словно заданная
неотличима от веры
что — как говорящие — теплятся
вещи души
в страхе — как в зимней ночи
всю полноту образуя
необходимого ныне терпения

| 1957 |

к предчувствию реквиема

а как это было?
впервые
вас били в то время —

но — только себя отдирая от вас
а — не нападая

я бился тогда чтоб себя отыскать
в бесформенной массе врагов называемой
временем
чтоб было пространство
для жизни без вас

прошло это время! и стал я свободным
от подаренного мне одиночества —
одиночества — в окружении!

и получил завоеванное одиночество —
самого себя

и место мое оказалось
пустыней где нет никого —

пока утешая могло оно так называться

пока вы не действовали еще окончательно!
и заняты были не смертью самой:

еще не ее матерьялом самим!

а только строительством
сферы для смерти

ее подготовкой

| 1958 |

КУСТ

*...в жизнь я шепчу — как в соседнюю
бесконечность умолкшего леса...*

1957

о явное это пространство
между снегом и между нижними верками
крыжовника около ветхой решетки —

в архипелагах
занесенного снегом сада

нет в этом пространстве
признаков тени
и недоказуема
близость редеющих листьев

сперва может быть и была эта тень
и торжеством ее было ее появление —

видимым словно в растворяющей воде
сиротством чернеющих веток

но что-то еще требовалось о так это было
этим теням
и снегу хотелось иметь свою тень
на нижних ветках куста

и на всю зиму слились
тень снега и тени веток
и будут всю зиму стараться очнуться —

и очнутся
лишь в середине марта —

о это ощущение
чего-то опасного и разряженного
как перед дверью
некой неведомой лаборатории

о этот великий обморок
существующий при моем существовании
как музыка за стеной

— и перед этим таинством
я человек прошу
помня о тех кто готовит опасное
моему пребыванию здесь:

“о дайте — прошу — немного времени
для немногих слов
о последних в мире кустах” —

о если бы все было жизнью
и если бы смерть исходила от жизни
не у людей я просил бы отсрочку —

но смерть сейчас от тех кто “они”
от людей смертей

| 1958 |

прощальное

[памяти чувашского поэта васьлея митты]

было — потери не знавшее лето
всюду любовью смягченное
близких людей полевых —

будто для рода всего обособленное! —

и жизнь измерялась
лишь той продолжительностью
времени — ставшего личным как кровь
и дыханье —

лишь тою ее продолжительностью —

которая требовалась чтобы на лицах
от слов простых
возникали прозрачные веки
и засветились —

от невидимого движения слез

| 1958 |

родное

я должен
дойти губами
до ее беспредельных глаз

и удивлюсь я тогда чуть пульсирующим жилам
на подглазье ее
и пойму что это от их прозрачности
и бестелесности
так светлы и больны
чуть вздрагивающие эти глаза

и полюблю я ее и руками моими и губами
и молчаньем и сном и улицами моих стихов
и ложью — для государств
и правдой — для жизни

и платформами всех вокзалов
где я буду в последний раз
смотреть на горячие черные спины
паровозов на дворах депо

оставляя ее
очередям и убежищам

маленьких страшных городов Сибири
и уезжая от нее навсегда

на бойню людей
моего же века

| 1958 |

ОТЪЕЗД

Забудутся ссоры,
отъезды, письма.

Мы умрем, и останется
тоска людей
по еле чувствуемому следу
какой-то волны, ушедшей
из их снов, из их слуха,
из их усталости.

По следу того,
что когда-то называлось
нами.

И зачем обижаться
на жизнь, на людей, на тебя, на себя,
когда уйдем
от людей мы вместе,
одной волной,

когда не снега и не рельсы, а музыка
будет мерить пространство
между нашими
могилами.

| 1958 |

сад в декабре

где-то скрывает он мертвое поле
будто единственное
им охраняемое:

“сад” говорю и не вижу о лучше оставить
их понимающих только себя!

и без призора движенье карниза:
легкий мышиный
пробег по стерне! —

длится невидимое
словно во сне белокамье Карелии:

о скоро:

кренясь постепенно! —

и удаляясь
как будто на льдине:

затылком
случайно отыщется —

для снов через год и для памяти —

девичий столик
под снегом вечерним:

вычурным

детским

| 1959 |

отмеченная зима

1960—1961

ТИШИНА

Как будто
сквозь кровавые ветки
пробираешься к свету.

И даже сны здесь похожи
на сеть сухожилий.

Что же поделаешь, мы на земле
играем в людей.

А там —
убежища облаков,
и перегородки
снов бога,
и наша тишина, нарушенная нами,

тем, что где-то на дне
мы ее сделали
видимой и слышимой.

И мы здесь говорим голосами
и зримы оттенками,
но никто не услышит
наши подлинные голоса,

и, став самым чистым цветом,
мы не узнаем друг друга.

| 1960 |

облака

В этой
ничьей деревне
нищие тряпки на частоколах
казались ничьими.

И были над ними ничьи облака,

и там — рекламы о детстве
рахитичных и диких детей;

и музыка о наготе
гуннских и скифских женщин;

а здесь, на постели, на уровне глаз,
где-то около мокрых ресниц,
кто-то умирал и плакал,

пока понимал я
в последний раз,

что она была мама.

| 1960 |

смерть

Не снимая платка с головы,
умирает мама,
и единственный раз
я плачу от жалкого вида

ее домотканого платья.

О, как тихи снега,
словно их выровняли
крылья вчерашнего демона,

о, как богаты сугробы,
как будто под ними —
горы языческих

жертвоприношений.

А снежинки
все несут и несут на землю

иероглифы бога...

| 1960 |

дом друзей

[к. и т. эрастовым]

Было совместное
соответствие
дыханья, движенья и звука
в их первозданном
виде.

Надо было уметь не усиливать
ни одно из них.

И во все проникал
свет звука, свет взгляда, свет тишины,
и где-то за этим свеченьем
плакали дети,
и изображало пламя свечи

пересеченья
наших шагов.

И мы находились
в составе жизни
где-то рядом со смертью,
с огнем и с временем,

и сами во многом
мы были ими.

| 1960 |

СНЕГ

От близкого снега
цветы на подоконнике странны.

Ты улыбнись мне хотя бы за то,
что не говорю я слова,
которые никогда не пойму.
Все, что тебе я могу говорить:

стул, снег, ресницы, лампа.

И руки мои
просты и далёки,

и оконные рамы
будто вырезаны из белой бумаги,

а там, за ними,
около фонарей,
кружится снег

с самого нашего детства.

И будет кружиться, пока на земле
тебя вспоминают и с тобой говорят.

И эти белые хлопья когда-то
увидел я наяву,
и закрыл глаза, и не могу их открыть,
и кружатся белые искры,

и остановить их
я не могу.

| 1959–1960 |

и: расходящиеся облака

[в память о зиме 1959–1960 годов]

1.

не с кем ему Расставаться и он Разлучает себя
в нас через нас!

это я вижу
по облакам

2.

— а наши балы, а заря, а залы,
алмазы, лампы, ангелы мои?

ответ: обрубок; клич: кусок; пароль: отрывок;
а цельный — в армии бе-ЭС

3.

а говорим ли кричим ли
и вспоминаем ли —
преследуемы проецируемы
убиваемы

4.

— и лес стенами золотыми
светя по памяти прохаживайся

приоткрывай прострелы доньев
как не-тревожащие раны

включи в свой свет и затеряй — как в море!
(пока я видимый как ты)

| 1960 |

из гостей

Ночью иду по пустынному городу
и тороплюсь
скорее — дойти — до дому,

ибо слишком трудно —
здесь, на улице,
чувствовать,

как хочу обнимать я камни.

И — как собака — деснами — руку —
руками — свои — рукава —

и — словно звуки
прессующей машины,
впечатленья о встречах в том доме,
который я недавно покинул;

и — жаль — кого-то — жаль — постоянно,
как резкую границу
между черным и белым;

и — тот наклон головы, при котором
словно издали помню себя,

я сохраню до утра,

сползая локтями по столу,
как по воску.

| 1961 |

счастье

— Там, где эти глаза зачинались,
был спровоцирован свет...

Я симметрично раскладываю ракушки
на женщину чужую,
лежащую на песке.

А облака — как крики,
и небо полно этих криков,
и я различаю границы
тишины и шума, —

они в улыбающейся женщине
заметны, как швы на ветру;

и встряхиваюсь я, как лошадь,
среди потомков дробей и простенков;

и думаю: хватит с меня, не мое это дело,
надо помнить, что два человека —
это и есть Биркенау, —

о табу ты мое, Биркенау мое,
игра матерьяла и железо мое,
чудо — не годится, чўдинко мое,
“я” — не годится, “оой!” мое!

| 1960 |

отмеченная зима

белым и светлым вторым
страна отдыхала

причиной была темноте за столом
и ради себя тишину создавая
дарила не ведая где и кому

и бог приближался к своему бытию
и уже разрешал нам касаться
загадок своих

и изредка шутя
возвращал нам жизнь
чуть-чуть холодную

и понятную заново

| 1960 |

ЛЮДИ

Так много ночей
линии стульев, рам и шкафов
проводил я движениями
рук и плеч
в их постоянный
и неведомый путь.

Я не заметил,
как это перенес на людей.
Должен признаться: разговаривая с ними,
мысленно мерил я пальцами
линии их бровей.

И были они везде,
чтобы я не забыл
о жизни в форме людей,
и были недели и годы,
чтобы с ними прощаться,

и было понятие мышления,
чтобы я знал,
что блики на их фортепьяно
имеют свою родню

в больницах и тюрьмах.

| 1960 |

прощальное

О, вижу тебя я, как свет в апельсине,
когда его режут,
твоя тишина освещала зрачки
издали, еще не коснувшись,
словно ты видела
еще до зрачков —

там, в глубине —
в горячем и красном.

Как будто плечами и шеей
плечам ты моим объясняла,
где в близости есть расхожденье,
но было ли это обидно,
когда это было

тише плеч, тише шеи
и тише руки.

И мне, как открытые форточки, запоминались
все детские твои имена,
их знал только я, и остались они,
как снег по ту сторону
тюремных ворот —
тише смерти и тише тебя.

| 1960 |

ИЗ ЗИМНЕГО ОКНА

голова

ягуаровым резким движением,
и, повернувшись, забываю слова;

и страх занимает
глубокие их места,

он прослежен давно
от окон — через — сугробы — наис — косок —

до черных туннелей;

я разрушен давно
на всем этом пути,
издали, из подворотен
белые распады во мгле
бьют
по самому сердцу —

страшнее, чем лица во время бурана;

все полно до отказа, и пластами тюленьими,
не разграничив себя от меня,

что-то тесное тихо шевелится
мокрыми воротниками и тяжелыми ветками;
светится, будто пласты скреплены
свистками и фарами;

и, когда, постепенно распавшись,
ослабевшее это пространство
выявляет меня в темноте,

я весь,
оставленный здесь между гудами тьмы —
что-то больное,
и невыразимо мамино,
как синие следы у ключиц.

| 1960 |

ДЕТСТВО

Желтая вода,
на скотном дворе —
далека, холодна, априорна,

и там, как барабанные палочки,
не знают конца
алфавиты диких детей:

о Соломинка, Щепка, Осколок Стекла,
о Линейные Скифские Ветры,
и, словно карнавальная драка в подвалах,
Бумага, Бумага, Бумага,

о юнги соломинок,
о мокрые буквы на пальцах!

**ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ — ЭТО КАК БЫ РЕЖЕТ,
НО ТОЛЬКО МЕНЯ, НЕ ВАС!
РЕЖЕТ — ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ И ПЛАТЬЯ
И ЧЕРЕЗ КОГТИ ПТИЦ!**

Коровьи копыта — яркие, невероятны,
что-то — от въезда в бухту,
что-то — от бала,

и сразу, как стучащие рельсы,
ярки, широки, беспощадны
обнимающие нас соучастники —
руки, сестры, шеи, мамы!

Разгуляемся снова, разгуляемся,
снова заснем и пройдем
не вчера, не сегодня, не завтра, а-а-а-а-а ! —

СКВОЗЬ КРИКИ ДЕТЕЙ,
ЧЕРЕЗ МОКРЫЕ БУКВЫ,
ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ И ПЛАТЬЯ
И ЧЕРЕЗ КОГТИ ПТИЦ!

| 1960 |

окна весной — на трубной площади

[в. яковлеву]

качающимися квадратами
цветения и звона
всех детств моих, знакомых
прозрачным опустевшим городам,

я их коснусь, и девичьи венчанья
все так же будут длиться
без музыки и без дверей;

глубины теплятся
зеленовато-сумрачно,
и плачут гам, за ними,
дождем измазанные мясники,
упав на груды рыб;

и вновь топтанье и переступанье —
я здесь, я здесь;

топтанье и переступанье —
раз навсегда —

как колокол в тумане —

— и как — шмуцтитуты — акафистов —
мне снится — красная — разорванность —
и собранность

| 1961 |

женщина этой весной

Птица у стенки, падая замертво,
клювом скользнула по белой бумаге,
я не вижу ее, но она — у нее,

потому это знаю,
что стыжусь ее взглядов.

Блеск подглазья,
как будто бесстыдно положенный
пальцами мальчика,
на мост поведет
меня через час,

и будут флаги свободны,
и далеки, и свежи;

это ведь за нее устаю
и за нее умираю
среди зелени странной:
все кругом состоит
из свисающих
и бесперспективных лоскутьев

осиновой дикой коры
без стволов и без веток;

а стыд за нее не проходит,
как будто касалась она
солемы на нищем гумне,
как будто из окон больницы
рассматривают ее вечерами
и знают: “не надо, не надо...”

и слишком уверенно
и равнодушно молчат.

| 1961 |

женщина справа

Там то, говорящее,
меня удивляющее тем,
что создает себе волосы;

там то,
что падать стыдится и может упасть,
и яблоки катятся на привязи,
а привязи тонки,
холодны;

там — “Р”, это полое “Р”,
этот круг удивительных “Р”,
там иголки от крови жасмина,
там
как будто обмывают олени глаза и рога,
а здесь, где я,
как будто раскладывают
хворост за хворостом.

Потребуем вьюгу —
она зашевелится
в провалах витрин.

Звать начинайте без имени,
словно бросая
скрещивающиеся белые линии.

А там, там —
эта спина,
меняющая меня, как олени леса,

и она, как убийство, есть и не здесь,
и оторвана страшно названьем
от самого человека,
как будто во сне подарили
железную форму распутья
и сказали, что это есть вечность,

и стал я, поверив, несчастным,

и плачу я, плачу, плачу
во всех углах
самого себя.

| 1961 |

ПОЛЯ-ДВОЙНИКИ

1961-1965

но войду — и лесным тарахтеньем
поверхности
станут полны потолки

и засветишься
вся словно колючки испарины
непрерываема
и узоры волнения как тени полыни
составят тебя наподобие
светлого хозяйства из перебоев дыханья

и утро подробно
подробен и сад
и все при тебе
в этом доме подробны с утра

как будто возникшие каждый в отдельности
только сейчас

| 1961 |

утро в детстве

а, колебало, а,
впервые просто чисто
и озаряло без себя
и узко, одиноко

и выявлялась: полевая!
проста, русалочка!

и лилия была, как слог второй была —
на хруст мороза, —
с поверхности блестящей, мокрой,

— царапинки! — заговорю, — царапинки!

с мороза,
и на руке —
впервые след пореза

а этот плач среди трав:

— я богу отдан заново!

а нищий брат, мой ангел под зарей! —
уже тогда задумали,

чтоб объяснил,
и чтоб ушел,
и чтоб осталась эта суть:
царапинки... заговорю — царапинки...

| 1961 |

реквием девочке

милей вдоль рук
прощальной вдоль ресниц
и птицею на полустанке
узка отброшена и остановлена

потом не появившись были стены
прошла зима и сохранились
там где закрыто все
и сеча тихая одежд и леса
и место облика где нам не быть

И ВОТ — БЕЗ ПОМОЩИ ЛЮДЕЙ, СЕРЬЕЗНО,
И ОЧЕНЬ ДАЛЕКО —
БЫЛА, КАК НА ЛЕТУ ПРОШЛА
БЕЗ ОТЗВУКА: “БЫЛА! БЫЛА!”

еще кричат поют и светятся
в садах во всем поселке
далекие чужие

как точки золота в песке

и тянутся уже во тьме
ряды притихших теней
просты как я молчащий
как вы не узнающие
тех что уже во тьме

| 1961 |

АЛЫТ

[ф. дружинину]

птица черная здесь затерялась
о ясный монах галерей
и снега кусок как в награду звезда!

отрываясь от грифа
падают доски селений
здесь во дворе опустевшем давно

и дереву нравятся вывихи дерева
бархату шелка куски

а струны ложились бы четче на книги
освещенные снегом на крыше
через окно

| 1962 |

вспоминается в рост

ляля, ляля без смысла и ляля,
пугающая, словно ранены жабры,
и части одежды
опрокинуты в воздух оттуда
там вдалеке,
когда я не вижу, до боли расцвечены
и смягчу я — тряпичны — смягчу;

а это
понятие-облако
столь неотступно-свисающее
будто явлением близко-тревожным —
“нося”? —

это было об астре, о ночи и о подоконнике,
здесь — о плечах,
представлю ее я в движенье,
но там, где от поля —
словно от стула,
и нет никого;

вся лель, вдоль и лель, прикрывая и шею,
дальше — тянет как с горки, —
вот здесь-то и плачут и не понимают;

и где-то у пыльной дороги
орешника долгий и стершийся край —
как вдоль плачущего одного;

и ясно прощается друг
и думают снова: “да едут же где-то к деревьям,
снится же что-то другое;

и были же корни не здесь,
а мука сильнее оказалась”.

| 1962 |

поле — до ограды лесной

после белого поля — широкого нашего —
постепенно чужого
перекладина — издали наша —
а пока я бунтую — моя

и царсово-садо* бело на юру
сарабанда-пространство
чистая без удара и опять без удара

одинокий и взрослый я с этого края пойму
цвет — дальнего края другого
там после зеленого логова
двойника людского понятия “поле”
черные тонкие ветки деревьев
и санки и дети в овраге

как ласты — чисты далеки и слабы!
особенно — в поле! с холодными шеями!
и если душа словно бог выясняет
что можно все шеи ломать словно бог
прозрачность без зренья любя
то в поле

* Царсово-садо — неологизм автора. (Здесь и далее — примеч. автора.)

заброшенном мной поверх глаз ради памяти
и дети на месте на месте и я

и разрешены как во сне постепенно
и быть и смотреть и болеть

и тайное что-то иметь непременно
особое что-то иметь

что с марлею схоже и схоже с бинтом —
оброненным
в доме пустом

но знающий ясно разрезы во мне чистоты
в чистоте

я знаю что есть и двойник погребенья

есть место где лишь острова-двойники:
чистого первого — чистого третьего —
чистого вечного —
чистого поля

| 1962 |

заморская птица

[а. волконскому]

отсвет невидимый птичьего образа
ранит в тревоге живущего друга

и это никем из людей не колеблемо
словно в системе земли
сила соловья создающая
словно в словах исключение смерти:
сердце — сечение — север

а рядом приход и уход
замечающих перья и когти
знающих гвозди крюки и столбы
не боящихся видеть друг друга

и надо на улице утром на шею принять
холод от стен и сугробов
и тайная фраза синичья
диктует сердечную славу всему

слава белому цвету — присутствию бога
в его тайнике для сомнений
слава бедной столице и светлomu
нищенству века

снегам — рассекающим — сутью бесцветья
бога — лицо

светлomu — ангелу — страха
цвета — лица — серебра

|1962|

линий резки и складки к себе
через мои рукава
где холод где рядом окно а за ним
сутробы ворота дома

| 1962 |

казимир малевич

...и восходят поля в небо.

Из песнопения

(вариант)

где сторож труда только образ Отца
не введено поклонение кругу
и доски простые не требуют лика

а издали — будто бы пение церкви
не знает отныне певцов-восприемников
и построено словно не знавший
периодов времени город

так же и воля другая в те годы творила
себя же самой расстановку —
город — страница — железо — поляна —

квадрат:

— прост как огонь под золой утешающий

Витебск

— под знаком намека был отдан и взят

Велимир

— а Эль* он как линия он вдалеке
для прощанья

— это как будто концовка для библии: срез —
завершение — Хармс

— в досках другими исполнен
белого гроба эскиз**

и — восходят — поля — в небо
от каждого — есть — направление
к каждой — звезде

и бьет управляя железа концом
под нищей зарей
и круг завершился: как с неба увидена
работа чтоб видеть как с неба

| 1962 |

* Эль — Эли Лисицкий.

** Белого гроба эскиз — перед смертью Малевич сделал супрематический эскиз своего гроба.

вдруг — мелькание праздника

а ведь и *днем* не назовешь! —

как будто это птицы свет
(теперь “свет Моцарта” сказал бы)! —

кружа играющего легкого
по миру будто из себя
катая по кругам-подсолнухам
даль наполняли словно шумом мельничным
и блеском девушки! — для праздника святее
сиянием первичным —

(хотя всегда мы умираем
а *это* нами и живет:
блестим расплескиваясь тихостью
себе не разрешая знать) —

и все прозрачней леса тень
и вот — как даропринимательница
ряды сияния выстраивает
и добавляет из себя
последний вздох дневного пенья —

и — ровен мир! — река серебряна

поляна золотиста

я юн (как с Губ-что-Свет)

| 1963 |

цветы от себя самому

в разрешенной ему дорогой глубине
он затравленный жив

он стар но однажды приснилась глубоко
и гулко
забытая словно для столяра стол неудавшийся
впервые понятная дочь
и он просыпаясь себя помещал перед лампой
и понял себя существующим явно
самоспасающим садом

он думал: как странно что стены с утра
существуют
о как непонятно за чьи говорится глаза
все это игра и отныне существенна
только защита себя словно глаза

как будто есть что-то пока кое-что берегут
зачем не разрушить когда лишь меня
укрывает
и в сказке нет смысла ненужных беречь
о как непонятно мне это укрытие

и он тяжелеет бесшумно ногами
словно к атласу в детстве к ключицам
внимателен
зная о чем-то растительно-ярком
о внешней и внутренней смежной чащобе
без цвета одежд

и добывает
цветы для себя в тайниках своего же
хожденья —
прекрасны как память во время расстрела
в подвале!

воспитаны холодом лунным
в ночь гимназическую

и был он арктически-цепок как будто
вися словно пух

— о где же то дно где диктуется слово Аа
где реки текут словно вниз и в платке пуховом
по — берегу — женщина
реки — Аа

| 1963 |

ДЕВОЧКА В ДЕТСТВЕ

уходит

как светлая нитка дыханием в поле

и бело-картонная гречка

срезается лесом

птицы словно соломинки

принимают шум леса на шею

косички ее вдоль спины наугад

словно во сне начинают село

глядя на край каланчи

и там на юру на ветру

за сердцем далеким дождя золотого

ель без ели играет

в ю без ю

| 1963 |

день присутствия всех и всего

1963—1965

распределение сада

это облако взято
при утреннем зрении снизу наверх
одиноких полян
при свете похожем для блюда
чтобы лицо приподняв удивиться
рядом с лицом подоконнику
светлому для слабого глаза

и тронув слезой эта слабость опять одарит
далекими пятнами стен
проемы решеток и веток
и засветится подглазьями мягкими
на лицах у женщин
распределенье настурций
среди кустов и скамеек

и лишь через сад разрешаю я зрение
ближе к себе затемняя
и на себя принимаю
легкую свежую тяжесть —
пробы соседнего дерева не отказаться
от движения слабого

а в памяти август соседствует с мрамором
и в отсвете этом
и рядом в домах притеснений
сегодня победу хранит
день присутствия всех и всего:

совместности облака солнцестояния голоса
матери
(светится соприкасается)
лестницы к астрам направленной
боли в висках

| 1963 |

к распределению сада

и примем мы свет на движенья нескромные
от самих лопастей
сегодняшнего цветодержца

не зная что камни и ветки и кожа лица —
видимые раны его!

и “я” говоря называем его расхитителем
одного неизменного
праодного своего же сверхсада

и здесь за оградю астры
не утешая ярки́
словно руки он режет себе!

| 1963 |

вторая весть с юга

отмечу что лицом ко мне
похожим на порезы вдоль сирени
и тайным ворсом крови сильная —

там за ее воротником

а сердце будто бы при шуме спрятанном
иголки с выявленьем музыки!
и проверяя есть ли мы
учесть придется нас с начала крови

она одна и нет конца
и “я” и “ты” лишь щебет птиц
уже вдали
уже не здесь

но есть и вызовы в больницу к маме

и вечная по улицам ходьба

Как жизнь долга Прерывиста И птицы
летят другие Слабые как мы

Себя как их Не жаль И будешь обесценена

как Много убивая

доказывали в детстве нам

|1963|

река за городом

а паутиная
пылью со дна как местами чердачными
восходящая к полю

и шелк и паутина
ее притягивая увлекутся
соседями оказаться такими же
как тень и пыль

и паутиная
как шелк во сне покажется нездешней
и связи с облаками
из пуха-хромоножки трав
глаза обманывающих

и алеющих

| 1964 |

возвращение страха

дети серебряны цинковы ваши ключицы
рука как Норвегия в книге у маминых щек
но краскою бросят на крест чтобы стоял
людской матерьял
словно кожа с Крестителя рук

о помни: есть верфи где сталь отражает
людей ягуарову радугу

как хозяином леса дубильщиком кожи
в автобусах смотрят в глаза

и ясный ведун будешь срезан как мох
и рекомендуется
не понимать

— а секс как разметка на небе как птица
чужая без имени! —

эта скрипичная нитка способна
лишь резать следы на щеке

это отсюда
по-травам-тоска сотворяется(есть
беспрерывно как шум в роднике!) —

жалом ловимых
с собою считать наравне

|1963|

мадригал поэту

[с. красовицкому]

езде твой цвет
особенно на склянках
ты — трогающий все вокруг тебя
как будто кровью
рыбы золотой

так прячут может быть за вьюшкою алмазы
как был ты нежен в ветхих рукавах

и ранил снег в окно мое свободно
коснувшись дара твоего израненного
потом меня

я глазками колец был так просвечен в саклях
и был соосвещенным ты
когда рассматривал я долго панагии
при сумерках столицы северной

и видел кровь твою

|1963|

начало леса

открывается сразу как воск поддаваясь
освещается весь!
с проемом с огнем с повтореньем огня и
проема
с местами для голоса мамы навечно:
“аи — ии”

суккубье третейство в вагонах кого-то
изведшее
тайно готовится здесь
оставлена кожа и кружевом скомканным
белеет во сне

и мягким горячим углем помещенное
что-то живое тройное
колодцем пригорком и домом
Девочку — робкую — около — речки
отдаляя играет

и вновь приближает

| 1963 |

ПОЯВЛЕНИЕ СНЕГА

мягкий и близкий подросток неясный
в колодец в колодец
лицом побледневшим мой сон прорезая

меня освещаая вдоль сердца

и возвращаясь на утро со дна
растенья на окнах коверкает
красным мне губы рая

светом с худых армяков
невидимый снег

он там недвижим
где явное место имеет как стул освещенное
издали солнце
где только они

крови подобно без кожи рожденные
без корки иной

и пламя яснее — от печки, от неба —
как будто проявлен ваш образ

на улице в детстве

в поле и в доме арестном

на камне и желтой бумаге

|1963|

коломенская церковь

[и. вулоху]

овес

зернами тебе подражающий

красным пятном отражался

на пару с тобой

когда в облике мысли нас видел сперва

Спас

сеть

осенним угаром возможна на ягодах

над кожей звоном твоим

но весть

восходящая ввысь

единственно суть

у ветра

синицы и друга

спросил я навеки ли мы

и отвечала снаружи печально:

“три”

| 1964 |

засыпающий в детстве

а высоко — река моя из д^ухов:
друг в друга вы вбегающие
и так — темнея —
вдаль и вдаль

и от ушибов дела нежащего
любимые и мягкие
вы платья странны в той реке:

не детского ли духа искрами
там в черной дали голубой

а сами — прорубями в свете открывающемся
вы в свете поля далеко мелькающие
как над полянами в лесу — их лики:

вы где-то в поле на ветру
как рукопись теперь во сне — его
поверхностью белеющей:

— светлы

| 1965 |

СТЕПЕНЬ: ОСТОЙКИ

1964—1965

НОЧЬ К ВЕСНЕ

темно в снях
в одежде есть пугающее
от дерева ли зверя ли какого
пылающими островками
опасное для разума плывет

петух отметит криком оползень
далекого комка земли
и тьма хранит свои столбы и впадины
огнем неведомым притянутые издали

чтоб место белым дать полям
края поляны затенить

| 1964 |

утро в парке

а может быть скамейки синей страшно:
там — та из раненных
иным огнем

и след высокой этой Силы
хранит ребенок слабо понимая
шурша как ветка на песке

(а Сила не ушла нетронутой:
придется ей потом преодолеть
играющую теперь у ног)

уйдут как дерево качающее ветками
о ране помня или ожидая
как дерево пройдут и среди тех
кто может быть
не помнит и начала

| 1964 |

любимое в августе

светом

страдающе-в-облике-собранным

из первосвета явившись

вздрагивая

ждать

и создана там где обилие лёта-идеи

склонно наверное к дару

где покорилося уменьшенной частью

тихим увидеть себя:

“быть”

как в сознании было бы птиц:

“ — ”*

| 1964 |

* При чтении вслух последняя строка выражается глухим стуком.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ: УТРО В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

снова — такое же поле
как будто не видишь:

в горнице — будто — из боли своей создаешь:

ярко: в такую же — бывшую — ширь! —

снова
какого-то третьего ты вспоминаешь
что-то без слов объясняющего:

дома — при матери — снящейся словно
береста! —

и — как при устье направленном в поле
в сумерках — вновь — у окна ты внимателен:

“есть” — повторяешь — как будто
в себя помещаешь
светящее место:

— о есть! —

и неизменно
свежо
повторяется так словно день чередуется
ясно
и — не накапливая
что-нибудь — возраст творящее:

есть — как тогда!
за окном
беспрестанно:

вместе с верхушками ветел себя Сотряся:

Сыплет и светом и пылью
как детская ель! —

и — время от времени:

темью при комьях белеющих:

самообъяснимо — что есть

| 1964 |

и ночью — как от тебя одеянье —
темя — преграда-приманка в игре
для Плачется-ярче-чем-мозг-у-дарящего-выше*
и есть самомысль при которой гощу
которая будет то ты (это цвета железа —
охотники-люди)
то вы (это цвета кровавого)
и когда не умея все это

то в свою очередь — я

| 1964 |

ДЕТСТВО К.* НА ВЛТАВЕ

протащатся во сне зубцы костела
не как-нибудь — в метели — через
представленье
бумаги — белого цветка — и поля
где мамой ставшая уже не чья-то дочь
а задевая глаз во сне:

и расширяясь
в боли зрячей:

ромашками бесчисленными
мелькает вверх:
опять опять

и привлекает бабочек...
я-шей-женщина... и лёт как покрывало белое
еще немного — и далекое
освобождает ноги — исчезая
светлее поле шевеля —

* К. — Франц Кафка. То же в стихотворении "ČERNÁ HODINKA:
NA MOGILOU K."

и это плещется... и глаз окружностями
все стороны я стебля вижу вверх

и выше — сеет лепестки

| 1964 |

друг этих лет

[и. в.]

тот год когда твой сон определил
(касаясь шубы как в санях
кусал ты губы будто бы съестное):
мы убиваемые есть

ты есть — в себе шуршащий:
как в сумерках и в чаще пар от зверя
зашевелишь для нас
цепь света созданную из отцов
где стебли в сонм ли втаяны
но их следы густы над озером —
соломы со следами есть
колесников поюнов грустных
попя как будто запрокидывавшихся
к себе
и к сору на санях

где это нижу? плачу одаренный
из тех: как дети — не найдут
и нежность братская виски тревожит
как трав следы

так мучившие на оглоблях
не травами ли делая
когда-то и тебя

здесь так темнеет что один — весь месяц
ах вздрогнем значит выпьем говорят
у вас и у меня

при чуде-женщине готовы собранны
как если птица — тот из двух
ту-охраняющий

(лишь там потерян друг)

| 1964 |

к утру в детстве

так избран — будто одевают!
из белого металла что ли детского!
и белотело ловится как ум
иное легкое свое
когда колеблют где-то изначала

и — как туман — со старшим будто сердцем
свобода ре́пья при реке

не острова ли облака-идеи
рождения повсюду белокамня
— и рядом все как спящие близки
в себе ровней телесно как для поля —
тем — тело освещающим
покой даря

и спят еще: священны-милые...
гусятницы-небесно-ломти...
трехлетки... и серебро на берегу
себя то избегает
то ловит

то дух для волн творит

|1964|

к тебе с конца

во тьме порезами на ней
невыносимыми
птиц привлечет на шею — пьющих
ее как серебро

я те места в ее огне где вспоминающая
мост двинет вместе с городом
и образы домов —
лишь в тех местах огня

и я ли — вспоминая лес? а если
по веткам вширь горят ее места?

и я все вещи всех возможных “где”
(всех тех где скрыта может быть она)
всех “где” которые — ее
не плавлю ли в себя? — чтоб стать одним
в огне едином словно в колыбели
пределы затаившем головы

тоскующей по шири разворачивающейся
меня-яаа-огня?

и сердца ссадины по телу и сознанию
иного даже мира потаенного
и зелень и возможно иновещи
и дно и краснота?

| 1964 |

И: СЛОВНО ОТДЕЛЯЯСЬ

ты — в каждой точке
этой зримости!.. —

как будто красной сетью бабочек
убитые
пока неотделимы —

и словно ширится:

она:

во сне!.. —

душа — ты ныне — в боли — с этим схожа! —

ты — так же красным многая
и горем полевых людей себя казавшая:

единоость —

как долгое и все таящее
сборное — средь поля — знаменье

и навсегда стогами озаренная
и телом сына = то — меня
все выбираешь осветить мне поле
где ты кому-то знаменем была

и раны принимая = сеть-покroющая
ты в красных пятнах пробывала

пока был избран я тебе

|1965|

больница в сокольниках

[в. яковлеву]

сами
в такие же раны одеты —
вы —
цветниками свободно шумящие!

и в Ночи Хрустальные
по северо-среднему
издали в играх сияете другу
серебряному умирающему —

словно конюшню
хранящую братскую
колыша углы
скажем: с рисунками-бьяками —

пока постоянно за вашими “я” беспокойными
потрескивает будто
далекий костер

| 1965 |

звезды: в перерывах сна

а холода

как в детстве — чистота! и будто рассеченный:

да с болью

со ступни! —

(да надо быть — лежащим) —

и сторона есть — скатом

оврага с санками:

то к богу дети малые! —

как — в боли — гонит их — не умеща:

и множит в поле том что все —

началом Неба! —

творя все дальше — в гонке!.. —

да чтоб — во вьюге самообраза:

не до-создать!..

| 1965 |

заря: в перерывах сна

где *есмь* как золотую пыль —

как обрамленье красное приснившееся книги:
“néant de voix”* —

от сердца высоко во сне над ним висящее —

о так сжигают *есмь*:

и жизнь — как некою его: умершею! —

она — разрозненною красною
как в плаче перерывы
мои теперь со сна! —

и лишь сознание где-то сплавом ангельским
над тенью здесь затерянной —

иное
далеко

| 1965 |

* “небытие голоса” (франц.). Эта фраза связана с рассказом Кафки “Певвица Жозефина, или Мышиный народ”.

праздник в детстве

заметная красным
явь опасна — любимых содёржа
невыразимо купая
в далях глаза на воды похожих
белые платья семейные

и в лице как в цвету она выслепит
бесцветную яркую
— от себя отслепит! —
иную первичную-девичью
в лучшем теле моем она выслепит
как волны чердачные
грустно — себя и себя! —

и спокойна семейными белыми —

цветами основы свои укрывающими:

там: плачу-и-платья — как чаши в сугробе...
там: я-и-смеются...

и путает
и смеюсь

| 1965 |

н. х. среди картин
(к выставке м. ларионова и
н. гончаровой в музее маяковского)

снова в жару озаряемы
полу-лучи
полу-духи:

леса составлять собирающиеся... —

и в мареве этом:

воздух а п р е л я — как сказано — с о т о г о:

ищет кого-то
как тонкая гарь!.. —

и латинских
когда-то
касавшийся ран:

тянется слабо из сада пустого:

к полу-деревьям
и полу-лучам —

в зале колышущимся

| 1965 |

к посвящению детства: чистка орехов

Розоволокотные, чистые...

Сафо

о розоволокотные! —

стаей простой:

на срубе

ореховы чистите гранки —

от зерен

и глади дорог

отражаясь:

как легкие дольки:

совместны!.. чисты —

о настолько! — что кажется: э т о м у долго
как звукоряду:

свободно простукивать:

над полем
над срубом:

воздушными косточками! —

словно на память — о бывшем когда-то:

стройном и чистом:

устройстве вещей

| 1964 |

ОКНО = СОН*

буря белая — знамя — и крестики —
щели впервые отсюда
как от мозга от сердца и глаза
к душе (это вьюгою шепчется)
бога — все резче:

больнее — все тоньше-ускоренно! —

только это окно... и просмотрятся знамя и
крестики-щели

— где-то доньями синими
все более близкие к богу —

ярко до смерти души! —

и знамя гори от меня буря белая снись

буду много: и синим — дома —

разделяющий —

* Автор указывает, что тема этого стихотворения, в иной плоскости, завершается в следующем, заканчивающем данный раздел.

— как доньями — крестиков
и падалью мира убитый
за ней освещусь:

о вдаль осия

|1965|

без названия



ярче сердца любого единого дерева



и:

(Тихие места — опоры наивысшей силы пения. Она отменяет там слышимость, не выдержав себя. Места не-мысли, — если понято “нет”).

|1964|

о чтении вслух стихотворения “без названия”

Спокойно и негромко объявляется название.

После продолжительной паузы следует:

Tutto adagio

Piano

Пауза, не превышающая первую.

Строка: “ярче сердца любого единого
дерева” произносится четко, без интонирования.

После длительной паузы:

L'istesso tempo

Piano

Снова длительная пауза.

Строку: “и” следует произнести с заметным повышением голоса.

После паузы, вдвое превышающей предшествовавшую, прочитывается прозаическая часть: медленно, с наименьшей выразительностью.

|1965|

утешение 3/24

1965-1967

заря: после занятий

среди темнеющих отталкивающе
как бархат на умершей
спокойных
львиных зевов

соломинками слабыми
поблескивает мир

кругом отсутствуя давно

и наполовину наискось — с рубашкой вместе —
ты словно частью золотым песком!
когда двора случайный ветер
потом в 4 веет широко

и шевелит тебя как сора россыпи!
где будто в шее свет красивых
усиливала белое бумага:

*богов всю зиму
укрывая каждая
по вечерам в окно:*

как нежный ум —
на снег

| 1965 |

знамена гази-магомед^{*}

где
скоро-вещи-белокурия
для в-воздухе-шарами-девичье
как будто в щелку освещались
из тела-только-мысли-звезд

где вещи для готовли белокурия
для пряжи-в-воздухе-знамен
тогда еще как связки были
мощей из тела бог-белеет-вьюгой:

они как тени этой вьюги:
для Скоро-где-нибудь-святые
белея им сердцами стать

| 1965 |

* Гази-Магомед (1795–1832) — первый имам Дагестана и Чечни.

ДОМ ПОЭТА В ВОЛОГДЕ
(константин батюшков)

Любезный образ в душу налетал...

П. Вяземский

а рядом — шёлка окружение:

разорванного будто в смеси —

сияния его

и дрожи:

непрекращаемой: виска —

лицо меняющей

как в ветре —

в сиянье шёлка — словно облика:

из праха! —

сущего:

всего —

из окон ветром разъедаемого:

и светом: до лица живого —

таящегося

как драгоценность:

среди шёлка:

ветра:

и лучей

| 1966 |

ГОЛОД — 1946

А было это под Пасху...

А. Крученых

от го-олода-а:

умершие красивы

ли-ицами —

те жемчуга-а опасны:

светлее соли

да-а... —

— виски ли: так — от любви распухают? —

не сердцем — а взором

естся ли это?

иное ли чистое — т а м? —

свобода ль иная? —

воздуха?.. —

ясного ль дня?

| 1966 |

ГИМРЫ*

как в травах снится:
будто сам
жужжишь и плачешь и алешь! —

среди пустынного собора
из мела и его тумана
едины так же крики птиц:

и духа зримой распыленностью
над головою вознесенная
из кости
наша белизна! —

и свет:
навьлет сообщающийся! —
как будто там где разлучают
идею ран от их теней:

и словно с пальцев начиная
растертый сильно по рукам! —

* Гимры — дагестанский аул, родина Шамиля и первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда.

и страсть которую на солнце
деревьям не отдашь!.. —

и смесь: почти алеющего зрения
и мест не видящих его:

и пара на скале от крови высыхающей:

плетни расцвечивает: царапают как перья!
тревожащих расцвечивая вспять

и словно то что тянет нас
нам кожу жарко опалая
в пустоты и проемы те
чьи стенки из людей —

нам виден он по цвету в нас
и видим словно расплываясь
и так же двигаясь к нему:

и — скоро — бабочки яркие
как на ресницах кровь

| 1965 |

утешение: розы

[н. а.]

при вас и пальцы ног —
как будто вспоминающие!

и ум сильнее колет
нам голову
при вас!

и вместе вы возможно то
откуда
разлучая
вывели:

где однородны — тайною одною:

осадок гения в цветах
и ум —
первичный слой!

и все — при разлучающем!
и то же самое
и здесь:

как будто при людском —
о рассказать рискованно! —
при том о чем не говорят —

таким:

почти не существующем:

почти белеет —
словно еле мыслится

почти одно —
как будто еле есть

| 1966 |

занесенные в марте

когда засну —
ты место счастья
как будто рана на руке:

и будто
славы жарким знаменем
лица достигнешь
расширяясь!

укроешь им —
от мира скрытым
тобой развернутым в огне —

над ним сиянье отдаляя
слёз
незримо полыхающим

объятый им я будто шелк
изъеден буду
словно на поляне —

лицо сливая
долго
с ним

его на души в мире перебрасывающие
легко без принужденья к нам заносятся
огня присутствием в себе —
как ветром внутренним:

проходят через нас
как воздух через прах!

и после — по-людскому жаркие —
в саду с трудом от дерева отходят:

ключут взаимно
как во сне

| 1966 |

образ — в устремлении (н. а.)

безумье птицы —
бьющейся о стекла!..

всегда:

в воспоминании:

красно!

как струйка крови
это смешано
с серебряным простором в воздухе! —

когда-нибудь:

в лицо направленное:

разрушит! —

и тогда увижу:

глаза лесной крестьянской девочки:

и лоб инфанты —

в двадцать лет

| 1966 |

утро — при детстве другого

[сыну андрею]

что облакаешь? что ты оставляешь
о тень! — как в озере:

в горячем
просыпающемся? —

возможно — смысл?.. — тобою окруженный
как прахом — некой сущности? — возможно
неведомой тебе самой? —

душе ли — слепоту
творишь ты из него?.. —

иль это — некий облик что древней
чем разрешение во времени
чему-то — в мире быть? —

и вот
сквозь негу
детства:

таинственно и зорко смотрится — ее светило
временное:

как некогда —
сквозь мира первый прах?..

| 1966 |

и: отцветают розы

нет спящего — а есть приснившееся!

подобно
пламени трепещущему!

и одиноко:

до провала:

его — никем не ощущаемого —

до бездны —
меры не имеющей:

гореть вещам
незримых мест:

основе
место уступая
всего:

и праха:

и души:

так: рассыпал бы я с себя!

так: “Эли! Эли!..” не было бы сказано!

так: розы были

так:

их нет

| 1966 |

сон: очередь за керосином

и в ряд стоим — спиной друг к другу:

проталкиваем
передних в лавку:

вода и кровь от матерей
в одежде! —

обнявшись
прыгаем во тьме:

лишь где-то:

лес:

готов как будто
до дна — раскатом — озариться:

меня проталкивают:

“как душу именуешь?”:

сквозь ветер я кричу:

“о может быть Тоска
По может быть единственному Полю?”:

и останавливаемся:

эхо к нам доносится:

друг другу руки мы кладем на плечи:

и так же прыгаем во тьме:

и в вихре мы
белея
открываемся:

как будто сами — место для прихода
кого-то:

словно яркая поляна:

где ветер
как виденье
носится:

нас отовсюду ослепляющее:

и слов не слышно:

ни о чем:

не думается

| 1966 |

и: после роз

а ваши дальние слои
за прахом мира открываются

течения
незримых рек

и в ветре — некое понятие слабое
желанье — вздрагивая
словно лист:

о дольше в мире
кое-где

(и длить им силу — без движения!)

и да пребудут и за лицами
за пылью временною их

(и после пребывания ими
сознание — вновь: и — вас уж нет)

| 1966 |

начиная со сна

[н. харджиеву]

сон — будто западня из шелка:

и удивляемся:

когда же
порваться
что-нибудь должно? —

как полог — изнутри сияющий
храня светила — чьих-то образов:

что разорвет их
словно свист? —

и шелк лица — как нить касательная
к душевной скажем пустоте:

концы отбросятся — изъеденные:

как в неизвестное
хранилище! —

исчезнут — и ее раскроют:

для холода:

страны и мира! —

и блеск его — уже бездонный:

лишь сон еще... и лишь за ним
то что мы знать уже должны бы:

что знаем?..

что-то как на льду:

озарено — на некой тверди:

последнее:

нас ощущающее —

погибнет

если не уйдет:

и не исчезнет т а м:

сливаясь! —

(т а к ночь безжалостно ярка)

| 1967 |

И: засыпая: лес

и загораживая —

рукою
губами!.. —

о тайная
(где-то в тумане) —

с зевами
дышащими:

слегка — драгоценность:

в сердечности — словно на волю

отпущенной!.. —

из грусти
что много —

(далёко
в тумане) —

жемчужиной той что лишь только понятие —

самая грусть

| 1967 |

содержание

живые страницы ева лисина 9

начала ПОЛЯН (1956–1959)

здесь 31

в рост 34

завязь (из одноименной чувашской поэмы) 36

из поэмы о волькере 38

предчувствие реквиема 39

бодлер 41

ночь первого снега 43

сон-огонь (утра в иркутске) 45

без названия 46

в декабрьской ночи 48

к предчувствию реквиема 50

куст 52

прощальное 55

родное 56

<i>отъезд</i>	58
<i>сад в декабре</i>	60

ОТМЕЧЕННАЯ ЗИМА (1960–1961)

<i>тишина</i>	65
<i>облака</i>	67
<i>смерть</i>	68
<i>дом друзей</i>	69
<i>снег</i>	71
<i>и: расходящиеся облака</i>	73
<i>из гостей</i>	75
<i>счастье</i>	77
<i>отмеченная зима</i>	79
<i>люди</i>	80
<i>прощальное</i>	82
<i>из зимнего окна</i>	84
<i>детство</i>	86
<i>окна весной — на трубной площади</i>	88
<i>женщина этой весной</i>	90
<i>женщина справа</i>	92

ПОЛЯ-ДВОЙНИКИ (1961–1965)

<i>утро в переделкине</i>	97
<i>утро в детстве</i>	99
<i>реквием девочке</i>	101
<i>альт</i>	103
<i>вспоминается в рост</i>	104

<i>поле — до ограды лесной</i>	106
<i>заморская птица</i>	108
<i>предзимний реквием</i>	110
<i>казимир малевич</i>	112
<i>вдруг — мелькание праздника</i>	114
<i>цветы от себя самому</i>	116
<i>девочка в детстве</i>	118

день присутствия всех и всего (1963–1965)

<i>распределение сада</i>	121
<i>к распределению сада</i>	123
<i>вторая весть с юга</i>	124
<i>река за городом</i>	126
<i>возвращение страха</i>	127
<i>мадригал поэту</i>	129
<i>начало леса</i>	130
<i>появление снега</i>	131
<i>коломенская церковь</i>	133
<i>засыпающий в детстве</i>	134

степень: остойки (1964–1965)

<i>ночь к весне</i>	137
<i>утро в парке</i>	138
<i>любимое в августе</i>	139
<i>константин леонтьев: утро в оптиной пустыни</i>	140
<i>ты с конца</i>	142
<i>детство к. на влтаве</i>	144

друг этих лет	146
к утру в детстве	148
к тебе с конца	150
и: словно отделяясь	152
больница в сокольниках	154
звезды: в перерывах сна	155
заря: в перерывах сна	156
праздник в детстве	157
н. х. среди картин (к выставке м. ларионова и н. гончаровой в музее маяковского)	158
к посвящению детства: чистка орехов	159
окно = сон	161
без названия	163
о чтении вслух стихотворения "без названия"	164

утешение 3/24 (1965–1967)

заря: после занятий	169
знамена гази-магомеда	170
дом поэта в вологде (константин батюшков)	171
голод — 1946	173
гимры	174
утешение: розы	176
занесенные в марте	178
образ — в устремлении (н. а.)	180
утро — при детстве другого	181
и: отцветают розы	183
сон: очередь за керосином	185

<i>и: после роз</i>	188
<i>начиная со сна</i>	189
<i>и: засыпая: лес</i>	191

геннадий айги
собрание сочинений
в семи томах
там первый
начала полян



Составление Галины Айги
и Александра Макарова-Кроткова

Набор и вёрстка Сергея Введенского
Редактор Александр Макаров-Кротков
Корректор Елена Салтыкова

Книгоиздательство
и магазин "Гилея"
Москва, Нахимовский просп., 51/21
(в помещении ИНИОН РАН)
тел. 8-499-7246167
<http://gileia.org>
e-mail: info@gileia.org

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46
Заказ № 562
Тираж 750 экз.

如

